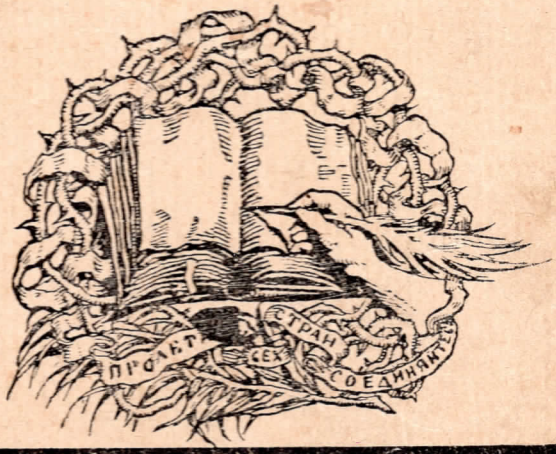
9(47)IX М.
1-48
947.

П. И. ЛЕПЕШИНСКИЙ.

НА ПОВОРОТЕ

(от конца 80-х годов к 1905 г.)

На дом не выдается.



государственное издательство
ПЕТЕРБУРГ
1922

М. С.

947. IX:X м.
Л 48.н
...ый фонд.

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И Р. К. П. (Б-КОВ).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П. Н. Лепешинский

ПРОВЕРКА 1933 г.
Проверка 1936 г.

НА ПОВОРОТЕ

(ОТ КОНЦА 80-х ГОДОВ К 1905 г.)

ПОПУТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБ-КА
Партийных Курсов
Ленинградского Обкома и Горкома ВКП(б)
Инв. № 27173
ДВОРЕЦ УРИЦКОГО

На дом не выдается.

Библиотека Учебных Пособий
Ленин. Комм. Унив.
Инвентарь № 1597/13

ЗНАНИЕ СИЛА РСФСР

БИБЛИОТЕКА Раб. Кр. Ун. им.

165/480

Инв 12240

ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

БИБЛИОТЕКА Раб. Кр. Ун. им.

Дом Плеханова
№ 2011-234/6

VIII.

Побег за границу. О Плеханове. Мои первые женевские впечатления (конец 1903 и начало 1904 г.).

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня.
(Из детской хрестоматии.)

Его пленяло солнце юга—
Там море ласково шумит,
Но слаще северная вьюга
И больше сердцу говорит.
При слове: «Русь», бывало, встанет—
Он помнил, он любил ее,
Заговоривши про нее—
До поздней ночи не устанет...
(Из стих. Некрасова „Несчастные".)

— Ко мне, пожалуйста, господин хороший, у меня самый лучший товар.
— Не верьте ему. Лучше товару, как у меня, вам не найти.
(Из впечатлений детства о посещении местного базара.)

Я долго колебался, проявляя позорное малодушие: бежать или не бежать... Но жена моя решительно советовала мне не ожидать беспечно приговора, который может пахнуть 8-ю годами далекой Якутки [1]), и мой побег за границу стал делом решенным.

Получены были деньги для побега от моих родных (брата и сестры). Заготовлена была руками Ольги Борисовны, с помощью жавелевой воды, из какого-то старого просроченного паспорта несколько подозрительного вида фальшивка для меня на имя минусинского мещанина Быкова. Куплен по случаю великолепный барашковый воротник, долженствовавший придать моему пальто «барский» вид. Приобретена лошадь, на которой посвященный в тайну моего замысла и приятельски настроенный к нам один поселенец должен был отвезти

[1]) Я уже указывал раньше, что на самом деле мой приговор гласил о 6 годах Восточной Сибири—вероятнее всего Якутки.

«подвиг». Стоит только двинуться с места, и айда себе таким манером дахин-дахин во ди цитронэн блюэн...

— Э-э-э... господин хороший...—прерывает мое благодушное настроение носильщик.—Вы что же это чужое место заняли?...

— Как чужое!.. Это место никем и ничем не было занято.

— Ну да, не было занято... А узелок-то,—вы куда же его девали?...

— Никакого узелка тут не было... Смею вас уверить...

— Что же он сквозь землю провалился, что ли... Нет уж вы, пожалуйста, не шутите... А то ведь придется поезд задерживать, жандармов звать...

Гм... Получается скверная история. По показаниям соседей выясняется, что здесь прошмыгнул какой-то подозрительный тип, и, кажется, он-то и прихватил узелок.

Носильщик бежит за жандармами.

Что же мне делать? Искать новое себе место? Это возбудит лишь подозрение жандармов, которые сочтут мой уход желанием скрыться от их всевидящего ока. Я остаюсь там, где сижу. Будь, что будет.

Появляются предводительствуемые носильщиком два жандарма, а вместе с ними и собственница узелка, которая жалобно причитает:

— О-о-о-о... Там же была отцовская меховая ряса... А еще ж и моя шубка на лисьем меху... Да подушка, да муфта, да калоши но-о-венькие...

Поезд трогается с места, и жандармы едут с нами.

Начинается составление протокола. Сначала допрашивают потерпевшую, а потом и меня, возможного похитителя ее лисьей шубки и поповской рясы ее отца.

— Ваше имя, отчество и фамилия?

— Иван Петрович Быков.

— Ваше сословие?

— Я... я... статистик (застигнутый этим вопросом врасплох, я не могу мгновенно взвесить: что мне выгоднее: быть ли минусинским мещанином согласно паспорту, или приписать себе более привилегированное дворянское звание).

— Это ваше занятие... а ежели сословие, то это, к примеру, кто вы есть—дворянин или крестьянского сословия...

— Ну, конечно, дворянин,—с сознанием собственного «дворянского» достоинства отвечаю я, решившись сфабрикованного мне руками Ольги Борисовны паспорта (и далеко не lege artis) лучше и не показывать.

— Откуда и куда едете?

— Из Омска в Киев.

— Адрес вашего постоянного местожительства?

— Э... э... Омск... Почтово-Телеграфная улица... дом Иванова (ни одного названия улиц в Омске я не помнил, и врал уже на пропалую).

Допрос окончен. Паспорта у меня не спросили. Поезд подошел к станции, и жандармы ушли. А все-таки... Все-таки скверновато. Жандармы отрапортуют о происшествии ротмистру. А если до Пензы уже долетела телеграмма о задержании бежавшего политического преступника, то мой шикарный приезд на курьерском поезде в Пензу (те же самые жандармы очень внимательно, из чувства почтения, могли накануне присмотреться к моей персоне, когда я вылезал из купе в качестве «знатного иностранца») и скромный отъезд из Пензы в III классе—могут навести ротмистра на подозрение.

Нет, непременно нужно будет переменить маршрут. К черту Киев! Еду на Москву. Все равно как-нибудь уж найду явки и в Москве.

А тут, как нарочно, соседи приступают с вопросами: как у вас там в Омске?.. Почем мука?.. Почем масло?..

Даю рубль носильщику и прошу его перевести меня во 2-й класс на ночь, где есть спальное место. Хочу, мол, выспаться.

Утром приезжаем в Ряжск. Бегу на вокзал, чтобы взять билет на Москву. Говорят: поезд ушел полчаса тому назад и следующий поезд идет ровно через сутки.

О чоррррт по-берри...

Снова бегу со своим чемоданчиком в прежний вагон.

Нужно ехать до новой узловой станции, там уже сверну.

В ближайшем узловом пункте бегу к кассе.

Поезд пойдет на другой день.

Опять с уст срывается проклятие.

Ну, уж в Грязях (а я навел тщательные справки: в Грязи мы приезжаем в 5 $^1/_2$ час. веч., а поезд на Орел отходит в 6 час. веч.),— я, наконец, сверну с этой роковой дороги.

Поезд мчится дальше. Вот уж и последний полустанок перед Грязями. 2 минуты стоянки на полустанке, 10 минут езды—и мы во-время приедем в Грязи. Мне начинает, наконец, улыбаться удача.

Однако, что же это такое?... вот уже 5 минут прошло, а мы все еще стоим... Через каждых четверть минуты я нервно вынимаю карманные часы, будучи заинтересован в этих минутах так же, как приговоренный к смерти дорожит остающимися ему мгновениями жизни.

Проходит кондуктор.

— Скажите пожалуйста, почему мы стоим?

— Да вот, ждем встречного поезда... Что-то немножко опоздал...

Нервы мои напряжены до такой степени, что я готов на какую угодно дикую выходку. Хочется пойти, отыскать жандарма и сказать ему: не угодно ли вам получить меня: я беглый административно-ссыльный из Сибири...

Жж... жж... Неужели?!.. Да, это несомненно так: подъезжает встречный поезд, и мы трогаемся с места. Я уже не прячу обратно часы в карман, а держу их все время перед глазами. Стрелка быстро подходит к цифре VI. Успеем или не успеем?.. Быть или не быть?..

Ура! поезд остановился за две минуты до 6 часов, и я опрометью бегу в кассу.

— Ради бога, скорее билет на Варшаву через Орел...

— Какого класса.

— Второго, второго,—пожалуйста, только скорее, чтобы мне не опоздать.—На этот раз я с презрением отношусь к 3-му классу, ибо еще раз на горьком опыте убедился, что для достижения «конечной цели» не следует увлекаться принципами демократизма.

Я получаю билет и сдачу (меня обсчитали на рубль, но я не нахожу нужным тратить дорогое время на выяснение этого обстоятельства и с удовольствием дал бы милой кассирше еще какую-нибудь звонкую монету на радостях).

Вскакиваю в вагон. И как раз во время. Промедли я еще с ¼ минуты, и мой поезд ушел бы без меня.

Я не знаю, какое чувство испытывают люди, вздернутые на виселицу, но затем отпущенные на все четыре стороны в виду того, что веревка, на которой они были подвешены, оборвалась. Однако, мне кажется, что мои первые переживания в вагоне, удалявшемся от проклятого «заколдованного места», имели большое сходство с эмоциями висельника, возвращенного к жизни. В большом просторном вагоне горел яркий свет электрических лампочек. Какие-то две миловидных пассажирки превесело болтали между собой. Я разлегся на мягком диване и сладко потянулся. Наболевшие нервы отдыхали. И как в это время был понятен бессмертный афоризм Панглоса!.. Как хорош казался этот лучший из миров!

Наконец я в Варшаве. Там у меня были родственники—Беньяминовы (Борис Осипов. Беньяминов, женатый на моей родной сестре Юлии). Заранее предупрежденный о моем визите—я заезжал в Брест к сестре моей жены и через нее дал знать Бор. Осип. Беньяминову об обстоятельствах моего путешествия — этот последний занялся розыском подходящих лиц, помогающих политическим эмигрантам переправляться через границу, а пока что приютил меня на несколько дней в химической лаборатории варшавского политехникума, в котором он был преподавателем химии. Все шло уже вполне благополучно,

и дня через два мне сказали, что я могу ехать в пограничный городок Бендин, где должен буду разыскать в такой-то гостинице такое-то лицо.

Буду, однако, сокращать свой рассказ. Так или иначе, через несколько дней я отправился по указанию моего бендинского покровителя в какой-то притон, где кишмя кишели контрабандисты, потребители всякого рода услуг по части переправы за границу и всевозможные вообще типы, состоявшие не в особенной дружбе с законами Российской империи. По условленному знаку я нашел того рыженького еврея, который должен был переправить меня через границу. Ему я передал согласно уговору 10-рублевый червонец за услуги. Такая крупная плата (полагалось же, кажется, 5 рублей) была результатом предварительного соглашения, что меня поведут через мост, а не в брод через пограничную речку.

Как потом оказалось, на долю моего проводника из этих 10 рублей причитался один только рубль, а остальные девять рублей шли в карман предпринимателя дела. Очевидно, контрабанда и переправа через границу тоже были поставлены на широкую капиталистическую ногу.

Проводник стал во главе целой маленькой экспедиции из лиц, жаждавших в этот момент прогуляться без паспорта по ту сторону рубежа. Со мною вместе шли еще два каких-то еврея: один молодой, а другой—пожилых лет, с большим животом, с одышкой и с выражением бесконечного страха на лице. Что их гнало на этот рискованный путь? Быть может, преступление, сделавшее для них пребывание на родине не безопасным? Быть может, молодой еврей спасался от воинской повинности? А вероятнее всего, по примеру почти всей эмигрантской бедноты, едущей из России в Америку, они предпочитали пройти через границу контрабандным способом, чем брать дорого стоящий заграничный паспорт. Огромное большинство переправляется вообще по такого рода невинным мотивам, ничего общего с преступлением не имеющим. Да и я, по совету знающих людей, должен был скрывать настоящий мотив своего перехода через границу, а то иначе мне это удовольствие обошлось бы не в один десяток рублей...

В два часа ночи мы двинулись в путь...

Темно, ни зги не видать, но проводник уверенно ведет нас какими-то закоулками, огородами, оврагами по направлению к тому месту, где сияет цепь электрических огней. Это Гра̀ница, в которой предстоит совершить переправу и нам.

Чем ближе мы подходим к Гра̀нице, тем с большими мерами предосторожности ведет нас наш проводник. Он перебегает от избы к избе, от кустика к кустику и внимательно изучает привычную для его кошачьих глаз темную даль, прежде чем дальше двинуться в путь.

Толстый еврей сопит, охает, стонет и все время отстает, чем вызывает величайшее негодование проводника.

А у меня на душе поют соловьи и звенят малиновые колокольчики. Я знаю, что шансы на неудачу в таких случаях очень невелики, и тот элемент маленькой жути, который чуть-чуть щекочет и мои нервы, только еще более приподымает мое повышенное настроение и увеличивает поэзию момента. Вот она видна уже—та «мысленная географическая линия», за которой я почувствую себя свободным человеком. Через какие-нибудь полчаса я буду за пределами жандармской досягаемости, и мою душу покинет, наконец, то подлое чувство вечного страха, под знаком которого прошли для меня три недели моего путешествия.

А там впереди —круг дорогих товарищей, родная революционная стихия, живое увлекательное дело...

Ноги бодро шагают вперед. Грудь дышит легко и привольно. В мозгу шевелятся веселые мысли. Почему-то вспоминаются милые образы дорогих существ, оставленных там, далеко, далеко, за Уралом. Хочется крикнуть так, чтобы быть услышанным ими:—Эй, дорогие, ау!.. Видите ли вы из вашего далека своего Пантейчика?.. Чувствуете ли, как в нем радостно бьется каждая жилка?... Через несколько минут я буду новым, гордым, свободным человеком... И знаете ли вы, милые, как я страстно хочу сейчас жить, хочу работать, хочу творить, хочу бороться, хочу любить и ненавидеть?...

И чудится мне, что мое маленькое сокровище с глазами небесного цвета (я их так ясно вижу, эти глаза), мне откликается своим звонким детским голоском.

— Ау, Пантейчик, ау любимый!... Я тебя слы-ы-шу...

— Не отставайте же, говорят вам,—в тысячный раз шипит проводник на нашего тяжеловесного спутника.

И действительно, наступает ответственный момент: мы подходим к кордону у самой границы.

Уже рассветает. Проводник удваивает и утраивает осторожность. К счастью, все тихо... Прошла из ворот какая-то баба с ведрами: посмотрела внимательно на нас и пошла своей дорогой. Перед нами вдруг открылась речка.

— А где же мост,—тихо спрашиваю я у проводника?

— Ничего, господин хороший... Мы на этот раз перейдем в брод.

Спорить и вздорить из-за этого обстоятельства было неуместно.

После этого раздалась его властная команда:

— Гей, приподымайте полы своих шуб и смело за мной, только не отставать!...

Тут нечего было долго раздумывать: мы чебулдыхнулись в воду. Хотя это был и декабрь месяц, но вода не оказалась ледяной. Речка

имела саженей 6—7 ширины, но была неглубока. Через 2 минуты мы оказались по ту сторону границы, и наш проводник символизировал вступление наше из царства гнета в страну свободы диким радостным криком по адресу, очевидно, часовых:

— Ну теперь они пусть стреляют мне хоть в . . . (у вдохновенного оратора вырвалось неудобопроизносимое в приличном обществе словцо).

В Женеве я поспешил отправиться к Г. В. Плеханову,—единственный адрес, который был мне известен еще с тех пор, как я бывал у Плеханова во время приезда за границу летом 1902 г.

Для меня Плеханов был в то время не меньшим авторитетом и властителем моих дум, чем и В. И. Ленин. Этого последнего я больше знал и больше любил, но Плеханов мне казался более крупной теоретической величиной, да еще при этом ветераном-марксистом, по отношению к которому мы все, а в том числе и Владимир Ильич, были почтительными учениками. Если, напр., читатель помнит, то и моя собственная эволюция от Михайловского к Марксу и Энгельсу началась после прочтения книжки Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю».

Когда жена моя приехала весной 1902 г. в Лозанну, она образовала там марксистский кружок из среды русских студентов и студенток лозаннского университета, а чтобы влить в него идейное содержание, она самым бессовестным образом тормошила Плеханова, вызывая его из Женевы в Лозанну для чтения рефератов. Плеханов охотно соглашался на эти приезды, лишь бы только ему были предоставлены перевозочные средства с вокзала к месту собрания и обратно. После рефератов Георгий Валентинович без всякого жеманства заходил к Ольге Борисовне выпить стакан кофе и оживленно поболтать с кучкою своих поклонников и поклонниц на разные темы.

Я его в первый раз встретил тоже в Лозанне. Огромный лоб, черные густые брови, орлиный нос, орлиные гордые глаза, время-от-времени загорающиеся веселым юмором... Все это произвело на мою эстетику великолепное впечатление.

Из всей нашей беседы я помню только разговор на философские темы. Меня необычайно поразила та смелость и простота, с которой он утверждал некоторые свои философские постулаты. А так как я и сам никогда не был поклонником философских абстракций, которые—чорт их знает, что они иногда означают, то эта простота, а быть может с точки зрения какого-нибудь ученого Кифы Мокиевича и вульгаризация ее величества философии, привела меня в восторг.

— Да,—выкраивал я, как сейчас помню, какую-то свою мысль,—но все-таки между той материей, из которой состоит камень, и той,

модусом которой является человек, есть качественная разница... То-есть, я хочу сказать, что есть материя и материя...

— В чем же разница?—вскинул на меня свои умные глаза Плеханов.

— Человек мыслит, — с ударением подчеркнул я,—а камень э... э... э...

— И камень мыслит,—спокойно сказал Плеханов.

— Как так,—разинул я от удивления рот...

Плеханов стал мне пояснять, что количество переходит в качество, но и обратно, качество разложимо на количественные моменты. Мысль есть сложное движение и складывается из тех же элементов движения, которые определяют энергетическое состояние и камня. И если кто-нибудь хочет принять «мысль» за субстанциональное свойство материи, то он обязан приписать и камню то же свойство.

Все это было очень просто, азбучно, элементарно, но мое предрассудочное отношение к таким страшным словам, как «вульгарный панпсихизм» и т. п., мешало мне до этого момента дерзать на такого рода философскую «свистопляску» какую допустил только что *сам* Георгий Валентинович Плеханов. А ведь как это необычайно гениально просто (продолжал я смаковать Плехановскую смелость»): «и камень мыслит»... Гм... Да ведь это означает, что я таким образом перекладываю onus probandi (обязанность доказательства) того положения, что движение частиц камня есть явление, не сводимое к явлению движения частиц нервного вещества высокоорганизованной материи— на того самого эклектика, который будет стоять на точке зрения двух состояний материи... Ну и пусть его аргументирует, сколько влезет... А для меня эта нигилистическая позиция самая выгодная.

Так я по-своему переваривал этот преподанный мне Плехановым первый и последний живой урок по философии.

Я обращаю внимание читателя на ту черту Г. В., которая сказалась, между прочим, в его необычайной отзывчивости по части поездок в Лозанну для возни с какой-то кучкой русских политических недорослей из интеллигентской среды. Я не думаю, чтоб это были акты простого благодушия со стороны большого человека, к которому пристали маленькие взрослые дети и запели в один тон: «дяденька, навести нас, дяденька, не откажи». Быть может, и это обстоятельство имело место, а все-таки, как мне кажется, главная суть дела не в этом. Прав я или не прав, но моя мысль идет дальше этой внешности и ищет тут симптомов глубокой драмы большой жизни очень большого человека.

Я думаю, что, живя с молодых лет за границей, Плеханов в течение всего своего эмигрантского бытия,—и при этом чем дальше, тем

больше—таил в своей психике ту сложную болезнь, которая на обывательском языке носит название «тоски по родине».

«Я, нижеподписавшийся, тамбовский дворянин Георгий, сын Валентинов, Плеханов, сим отвечаю, а о чем—тому следуют пункты»... старался он ошарашить большевистскую «шпану» убийственной иронией в своем письме к Лядову (не помню уж, в каком № новой «Искры»).

— Ура, да здравствует тамбовский дворянин!...—подхватила «шпана».

— Хотя вы и смеетесь над моим Жоржем, называя его тамбовским дворянином,—говорила мне затем как-то добрейшая Роза Марковна Плеханова по поводу моих политических карикатур («как мыши кота хоронили и др.»), а все-таки он действительно тамбовский дворянин и на оскорбление будет отвечать, как дворянин . . . вызовом вашего пасквилянта на дуэль... Имейте это в виду... И передайте это вашему карикатуристу. (Роза Марковна делала вид, что, разговаривая со мной, она не «подозревает» меня в такой гнусности, как рисование карикатур.)

О, наивнейшая Роза Марковна! Если бы только она знала, как она грубо оскорбляла в этот момент своего боготворимого ею мужа, оберегание которого от невзгод жизни сделалось главным смыслом и главной целью ее существования. Недаром же дочь Плеханова, поджидавшая за углом на Rue de Carouge мать во время объяснений этой последней со мною около нашего большевистского «Вертепа» на набережной Арвы, потом накинулась, как говорят, на нее с градом упреков.

— Мама, мама, что ты наделала! Папа тебя не поблагодарит за эту услугу... Дурак будет Лепешинский, если не выпустит после этого новую карикатуру...

А все-таки, знаете ли, читатель, для чего я допустил это неожиданное эпизодическое отступление? Для чего я заговорил о «тамбовском дворянине»?

Да вот для того именно, чтобы позволить себе, в конце-концов, дерзкую гипотезу: Плеханов действительно никогда не мог за всю свою жизнь отделаться от этой своей ипостаси—тамбовского дворянина,—не в смысле, конечно, поборника дворянских идеалов, а в смысле национально-влюбленного в свою родину верного ее сына.

Мне кажется, что он бесконечно тосковал не только по благам русской национальной культуры, но и по дремучим лесам России, по ее рекам, вдоль берегов которых «бурлаки совершают путину», по ее желтеющим нивам, по ее придорожным ивам, по ее плакучим березам, по ее убогим курным хатам, по ее рабочим кварталам больших городов,—одним словом, по всем аксессуарам картины русского ланд-

шафта и русской жизни. Быть может, в этом отношении у Плеханова было что-то общее с другим российским «дворянином»—Н. А. Некрасовым, тем самым, который так безумно любил свою «сторону родную» с ее «врачующим простором», который свои лучшие поэтические строфы посвятил описанию ее природы, ее тишины, ее убогих храмов, ее народа, с тоской неодолимой тянущегося к своему Богу угнетенных, Богу скорбящих,—ее деревенской страды и зимних стуж, ее «дворянских гнезд», ее медвежьей охоты и т. д., и т. д.,—тем самым, который много раз возвращается мыслью к вариациям на тему о том, что

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль.

Плеханов знал хорошо европейские языки, особенно немецкий и французский. Этим последним он владел в совершенстве, не хуже природного француза. Ничто ему не мешало ликвидировать окончательно счеты с русской территорией и до такой степени европеизироваться, чтобы развернуть свои богатые силы на работе теоретической и практической—у французской или немецкой социал-демократии. Везде он был бы принят там с распростертыми объятиями, везде был бы признан идейным вождем,—и тем не менее мы его видим все время упорно цепляющимся за возможность поработать именно для убогой России, столь далекой от него, столь недосягаемой для него, а, в конце-концов, и так круто отшатнувшейся от него, что и сейчас на его скромной могиле на Волковом кладбище я видел жалкий венок «от Розы, Жени и Мани», а не от «благодарной России» и не от «русского пролетариата»...

Почему же его так тянуло к России? да просто потому, что он чисто *зоологически* любил ее, эту Россию, и *болел* этой любовью к ней.

Мне рассказывал один товарищ болгарин, что когда Плеханова навещали болгарские социал-демократы, он любил говорить им о своей России, о ее природе, и о том, какая она «и убогая, и обильная»...

Не бросает ли это обстоятельство некоторый свет и на последний, самый жалкий период его жизни, когда он опустился даже до амплуа ура-патриота?... Не сказался ли в нем, в момент объявления войны, угрожавшей сокрушить национальную Россию, с большей, чем когда-либо, силою «тамбовский дворянин», победивший в нем его другую великую ипостась-апостола интернациональной борьбы угнетенного пролетариата всего мира против своего угнетателя—мирового капитала?.. Мне думается, что да.

Но еще задолго до войны,—быть может, начиная с 1903-4 года,—он стал уже выдыхаться, как теоретический вождь русского пролетариата. Его огромному диалектическому уму не хватало живых

впечатлений от той российской действительности, которая выявлялась в процессе быстрого роста в России капитализма в 90-х и последующих годах со всеми последствиями этого обстоятельства. Пока факты этой действительности укладывались в рамки общих схем марксистской теории развития, великолепный марксист Плеханов был на высоте своей задачи пролетарского «учителя жизни». Когда же жизнь бесконечно осложнилась и для правильно функционирующей диалектической мысли пролетарского вождя данной страны живые, непосредственные впечатления от этой сложной жизни были столь же необходимы, как пища для организма, Плеханов как раз оказался слаб в этом отношении. И это, конечно, не его вина, а его беда,—великий трагизм его жизни. И чем беднее становилась его диалектическая мысль по части реального содержания, по части отражения диалектического процесса самой жизни, тем чаще и чаще и тем все настойчивее он прибегает к диалектическим *заклинаниям* и не на шутку, но совершенно всуе, сердится на своих противников, более богатых, во всяком случае, чем он, старый эмигрант, опытом и чутьем по части русской действительности, предполагая, что они—безнадежные метафизики, мыслящие по формуле: «да—да, нет—нет, а что сверх сего, то от лукавого».

Мне думается, что он давно уже понимал и сам источник постепенного обнищания своей диалектики и охотно хватался за всякого русского эмигранта, за всякий кружок русских студентов, вообще за все, что носит следы русского происхождения, надеясь, что этого рода суррогатами ему удастся, если и не насытить живыми впечатлениями от «русского духа» свою изголодавшуюся по этой пище мысль, то, по крайней мере, обмануть ее голод.

Я помню, как в 1902 г. я привез для Ильича из Пскова солидную кипу статистических источников, какие только мне попались под руку. Ильича я не застал в Швейцарии, но Г. В. Плеханов, узнав об этих «сокровищах», пустился на хитрые уверения, что я не ошибусь адресатом, если передам привезенные мною материалы именно ему, Плеханову, ибо у них, в редакции «Искры», общий теоретический котел.

И я нисколько не в претензии на него, если он на самом деле утащил мой статистический кусочек «русского духа» к себе в кабинет, а остальным участникам общего котла не дал и понюхать эту прелесть. Если только привезенный мною случайный подбор статистических изданий и представлял какой-нибудь интерес, то во всяком случае для Георгия Валентиновича он был *психологически* нужнее, чем для Владимира Ильича...

В процессе все более и более разгоравшейся борьбы большевиков с меньшевиками я имел достаточные субъективные основания быть враждебно настроенным к Плеханову в период его явного декаданса,

*

а все-таки, вспоминая сейчас, кто такой был для нас Г. В. Плеханов, как первоучитель марксизма, я не могу оставаться равнодушным к мысли о том, что на его могиле сиротливо развевается лента с надписью «от любящих Розы, Жени и Мани», в то время, когда его имя принадлежит всей России, всему русскому рабочему классу, всему, наконец, мировому пролетариату. И я уверен, что мы, коммунисты, найдем и время и охоту реставрировать память о великом Плеханове, не ставя больше ему в строку то, что было несчастием и трагизмом его жизни и что заставило его, живого мертвеца, безнадежно отстать от революционного движения и заживо разлагаться.

Плеханов встретил меня очень приветливо, но сразу же ударил меня, что называется, обухом по голове.

— Э-э, батенька, да вы видно не знаете, что у нас тут после съезда произошла свалка, так что скоро обе половины друг друга съедят, и от них останутся одни только хвосты...

Я хлопал глазами, ничего не понимая. Словно во сне, словно в тумане я слушал его передачу в кратких словах хода событий, развернувшихся на съезде партии и на съезде Лиги.

Он старался нарисовать картину происшедшего в юмористических тонах, вроде, напр., того, что «Ленгник как въехал в Лигу на белом коне, так весь честной народ только и ахнул», но от этого юмора еще более кошки скребли по сердцу.

— Да в чем же, собственно говоря, подоплека,—с отчаянием допытывался я у него.—Какие наметились новые линии? На каких принципиальных вопросах люди не сошлись?..

Он разводил руками и констатировал отсутствие принципиальных расхождений. Просто—личная борьба между Лениным и Мартовым из-за влияния. С своей стороны он, Плеханов, с грустью глядя на этот развал партии, прилагал все усилия, чтобы примирить драчунов, но тщетно. Сначала Мартов по-мальчишески играл в оппозицию, а потом, когда он, Плеханов, предложил Ленину наилучшую комбинацию в интересах сохранения единства партии—вернуть в Ц. О. разобиженную часть редакции «Искры», оставив фактическую гегемонию за двойственным союзом внутри редакции между ним и Лениным, то этот последний закапризничал и заупрямился, как Собакевич. Таким образом дальнейшая вина за раскол в партии лежит целиком на Ленине.

Я робко выразил ту мысль, что если свалка имеет совершенно случайное происхождение, то всем трезвым и не захваченным еще психологией этой свалки искровцам следует попытаться сплотиться

и общими мирными усилиями устранить элементы раздора в партии, ведущего к гибели все достижения трехлетней объединительной работы «Искры».

Плеханов поддержал эту мысль и в интересах ее осуществления посоветовал мне занять нейтральную позицию и в лагерь драчунишки Ленина даже и не показываться.

— Кстати, где вы остановились?—спросил меня Плеханов.

— У меня еще нет приюта,—ответил я.

— В таком случае я дам вам записку к тов. Абрамову: у него есть комната, и он с вас дорого не возьмет.

Я с благодарностью принял предложение.

Тов. Абрамов, болгарин, женатый на русской, очень близко принимал к сердцу перипетии борьбы в нашей партии, но, преклоняясь, подобно огромному большинству болгарских с.-д-ов, перед авторитетом Плеханова, смотрел на все его глазами, упорно, с чисто болгарским консерватизмом мысли, повторял засевшие в его мозгу словечки и фразки.

Цель Плеханова была ясна: он имел в виду предохранить меня от тлетворного влияния ленинцев, для чего и отдал меня в некотором роде под надзор одного из своих приверженцев. А уж там дальше—путь известный. Свежий человек становится объектом ласки с одной стороны. Другая сторона в порыве досады как-нибудь неосторожно фыркнет. Нейтралитет свежего человека еще более нарушится в пользу первых его завоевателей—и пошло писать! В результате у него, Плеханова, получится лишний союзник, а это по тем временам имело большое значение. Если этот союзник имеет некоторый революционный стаж, то фактом своего присоединения к одной из воюющих сторон он заметно повышает ее удельный вес к великой досаде другой стороны. Поэтому, лозунг: «лови свежего человека,—лови и не зевай»—был одним из самых актуальных не только среди меньшевиков, но и большевиков того времени.

Не успел я переехать в свою комнатку, которую порекомендовал мне Плеханов, как меня сейчас же почтили своим визитом т.т. Мартов и Дан.

О, как они были ко мне любезны, как они были чрезвычайно милы ко мне! И оба при этом, «волнуясь и спеша», прерывая друг друга, как Бобчинский Добчинского и обратно, торопились выложить передо мною весь свой огромный запас свидетельских показаний о ленинских кознях.

— Нет, вы прочитайте вот этот документ—это ведь своего рода перл... его нарочно, если бы и захотел, не выдумаешь... он с головой выдает Ленина,—сует мне в нос какую-то бумажку Дан.

— А как Вам понравится такая, напр., картинка,—нажаривает в свою очередь Мартов. В самый разгар прений вдруг встает Ленгник и вещает...

Я выслушиваю двух приятелей,—Кастора и Поллукса, чувствуя себя в очень глупом положении. Сложная закулисная «интрига» многочисленных персонажей в какой-то длинной-предлинной трагикомедии, в которой фигурирует миллион сто тысяч в высокой степени неинтересных эпизодов, почему-то назойливо претендующих на мое сугубое внимание,—право есть от чего сойти с ума!

Я неопределенно мычу, отделываюсь какими-то незначительными фразами и выражаю скромное пожелание окончательно высказать свое отношение ко всему происшедшему после того лишь, как успею все обдумать, взвесить и переварить весь сырой материал о внутри партийной борьбе, накопившийся за последнее время.

Не совсем удовлетворенные такой моей нерешительностью, но еще не теряя надежды сделать меня «своим», Мартов и Дан уходят, обещая повторить свой визит в недалеком будущем.

Только что они ушли, как вдруг стучат в дверь.

— Entrez!... А, Петр Ананьич!... Здравствуйте, голубчик!

Расцеловались.

— Что ж это вы, Пантелей этакий, глаз не кажете? Приехал— и прямо попадает в объятия Мартушки...

— Да ведь еще и адресов не знаю, Ананьич... Прямо, как в лесу.

— Кто это вас сюда законопатил в эту дыру,—сморщился он, оглядывая мою комнату.—Ведь ваш хозяин, этот Абрамов, злостный меньшевичище!

— Это обстоятельство на удобствах комнаты не отражается...

— Да, но некоторые комнаты имеют не только уши, но и язык... Смотрите, чтоб вам не напели меньшевистских романсов... Ну как вы поняли уже, где тут собака зарыта? а?.. разобрались в нашей истории?

— То-то, что нет, Ананьич! Только и слышал, что кто-то что-то когда-то кому-то шепнул, кто-то кого-то «подсидел», кто-то там... одним словом и корова ревет, и медведь ревет, и сам чорт не разберет, кто кого дерет...

— Ха-ха... Погодите, дружище, все поймете, я вот сейчас все расскажу вам по порядку...

И опять на мое растерянное, подавленное сознание сыплется груда каких-то фактов, каких-то «одиозных» моментов с «фальшивыми» списками кандидатов, с истерическими выходками «Мартушки» и т. д., и т. д. —словно туча пепла из Везувия на Геркулан и Помпею.

— Да что тут толковать, идемте сейчас к Владимиру Ильичу, он быстро вас отшлифует,—догадывается, наконец, Петр Ананьич.

Я очень рад этому предложению, потому что возлагаю большие надежды на Владимира Ильича. Уж если кто и сможет дать мне ключ к уразумению основной подоплеки раскола, так это, пожалуй, только Ильич.

И вот я опять после 3-х-летнего промежутка вижу Владимира Ильича. Вид у него совсем не тот победоносный, который сиял на его лице при отъезде из Сибири. Сидит Ильич на диване,похудевший, побледневший, с какой-то неопределенной улыбкой под длинными усами (тогда у него усы не были подстрижены, как теперь), и теребит свою жиденькую, клинушком, бороденку.

Задал он мне несколько вопросов о том, как я поживаю, где моя сейчас семья и т. д. и, наконец, замолчал, предоставив Петру Ананьичу овладеть моим вниманием.

Наконец, Красиков спохватился.

— А вы что же, Ильич, молчите, как воды в рот набравши? Ведь я же к вам привел сего мужа специально для того, чтобы вы разрешили все его сомнения и были, так сказать, его восприемником.

— Зачем?!.—улыбнулся Ильич.—Пусть сам разбирается. Есть печатные протоколы съезда... Пусть внимательно прочтет и сделает свои собственные выводы...

И несмотря на бурные протесты Петра Ананьича, упрямый Ильич решительно не пожелал заняться пропагандой и приведением меня в большевистскую веру. Так-таки я и не услышал от него о съезде ни полслова.

Но его совет был действительно самым разумным.

Я всем моим претендентам на роли духовных моих отцов заявил, что хочу сам ориентироваться в вопросах расхождения между большевиками и меньшевиками по печатным документам, и выговариваю себе для этой цели несколько дней.

Меня все-таки держали несколько дней под строгим надзором, и Дан с Мартовым каждый день находили свободную минутку, чтобы «подсыпать» мне новеньких анекдотов о перипетиях борьбы и справиться, когда же, наконец, я разрешусь от бремени сомнений и перейду в их лагерь.

Наконец, однажды, когда они подымались ко мне по лестнице и встретились со мною в дверях, я бросил какую-то фразку, что начинаю уже кое-что понимать и не считаю позицию т. Мартова, занятую им во время второй половины съезда, вполне правильной и безукоризненной.

Вы думаете, читатель, что после этого произошли горячие споры, полемическая схватка между моими учителями и мною, длинные объяснения и т. д.?

Ничего подобного.

— Я давно это подозревал,—скривил губы Мартов, взглянув на Дана.

— Идем... нам здесь нечего делать,—коротко сказал Дан.

И оба друга, бросив уничтожающий взгляд на меня, поспешно удалились, причем у меня и до сих пор живет такое впечатление, что руки на прощание они мне уже на этот раз не подали.

Я с этого момента самоопределился как большевик, каковым неизменно пребываю и по-днесь.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

		СТРАН.
	Вместо предисловия	4
I.	Гимназические и студенческие годы	5
II.	Первая серьезная проба сил (1894—95 г.г.)	17
III.	Первая тюрьма (1895—97 г.г.)	36
IV.	По дороге в Сибирь.—Первая половина ссылки (1897—1898 г.г.)	51
V.	По соседству с Владимиром Ильичем (1899 г.)	77
VI.	На своем посту. (В Пскове, 1900—1902 г.г.)	104
VII.	В разгаре работы. Снова тюрьма и ссылка (2-я половина 1902-г и 1903-й год)	124
VIII.	Побег за границу. О Плеханове. Мои первые женевские впечатления. (Конец 1903 и начало 1904 г.)	151
IX.	Большевизм на ущербе (1-я половина 1904 г.)	169
X.	Наши акции подымаются (2-я половина 1904 г. и 1905 г.)	197
XI.	Моя личная жизнь и мое амплуа за границей (в 1904—1905 г.г.)	217
	Послесловие	235